

Ника Фрост

ПЯТЬ ЗАРУБОК

НЕ В ЛЕС
СКАЗАНО

Ника Фрост

Не в лес сказано

<https://litres.ru/74618638>

SelfPub; 2026

Аннотация

В деревне Морошкино знают: самое страшное проклятие — то, что вырвалось сгоряча. Потому что лес слышит каждое слово.

Двадцать восемь лет назад семилетний Артём убежал из дома после материнской ссоры и бесследно исчез. А теперь вернулся. В той же курточке, в тех же красных сапожках. И ничуть не повзрослевший.

Для матери это чудо. Для участкового Игната Рябова — загадка, которой нет места в полицейском рапорте. А для жителей Морошкина — напоминание о старом долге, который лес никогда не забывает.

Здесь нельзя желать зла даже в сердцах. Здесь за случайно обронённое слово расплачиваются самым дорогим. И если вовремя не произнести «Не в лес сказано», сказанное обязательно сбудется.

Но кто заплатил за возвращение мальчика? И что потребует лес, когда придёт время окончательного расчёта?

Ведь лес не злой и не добрый. Он просто всегда забирает своё.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Сухие сапожки	8
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Ника Фрост

Не в лес сказано

Пролог

Было это в ту весну, когда снег лежал до Егория и хлеб в деревне кончился на Сретенье. Ели мякину с толченой корой. Ребятишки ходили в лес, копали под снегом прошлогоднюю клюкву.

Жила в Морошкине баба Устинья. Вдовая, при одном мальчонке. Певунья была первая на все Лихолесье: запоет на покосе, так за рекой косы останавливались. Свадьбу без нее не играли, покойника без нее не провожали.

Ушел ее мальчонка за клюквой и не вернулся.

Искали всем миром. Три дня ходили цепью, кричали, били в заслонки. Собаки след брали до болота, а у болота садились и выли. На четвертый день мужики сказали: «Не взыщи, Устинья. Лес взял».

Она не взыскала. Повязала платок и пошла сама.

Шла по Морошному болоту день. Кочка под ней не качнулась, вода не чавкнула: видно, ждали ее. Вышла на гриву. Лежит там лиственница, бурей вывороченная, в три обхвата. Корень в небо торчит, что рука. А на стволе сидит дед.

Большой дед, тяжелый. Мохом оброс от бороды до колен.

Грибом от него пахнет и прелым листом. Один глаз на нее глядит, желтый, совиный. А другой сучком зарос.

– Чего пришла? – спрашивает.

– Мое у тебя. Отдай.

– Мое у меня, – говорит дед. – Что в лес зашло да назад не вышло, то мое. Таков порядок.

– Дитя он. Семи годов нету.

– Малый, – соглашается дед. – Сидит у меня. Тепло ему, сыто. Морошки наелся, спит.

Заплакала Устинья. А дед глядит одним глазом и ждет. Не злой он был и не добрый. Он был как болото: кто знает брод, тот пройдет.

– Отдать можно, – говорит. – Я не жадный. Только даром и птица не поет. Ты мне что?

– Корову возьми.

– Корова не твое горе. Корову ты и так к Петрову дню проешь.

– Избу возьми.

– На что мне изба? У меня своя, под корнем.

– Так чего ж тебе?

Дед помолчал. Поскреб сучок в глазнице.

– Свое отдай. От чего сама отречешься, то и возьму. Голос у тебя, сказывают, хорош.

Устинья и думать не стала.

– Бери, – говорит. – Отрекаюсь от голоса. На что он мне, коли баюкать некого.

– Слышано, – ответил дед.

И пошла она домой. А на третью зарю мальчонка ее стоял на мостках, где бабы белье колотят. Сухой стоял, хоть вода была полая, по колено. Сытый. Сонный. Спросили его, где был. Говорит: у бабушки в гостях посидел.

Устинья с того дня слова не сказала. Ни песни, ни «здравствуй». До смерти молчала, сорок лет. А сын ее вырос, женился и девятерых родил.

С той поры и повелось в Морошкине. Потерял чего в лесу: корову, топор, человека, – не ищи, ноги не бей. Иди к Дедовой колоде, клади в дупло вещь потерянного и спрашивай. Дед отдаст. А ты плати своим: скажи, от чего отрекаешься. Кто руку отдавал, кто зрение, кто последнюю полосу ржи. Честный был торг.

Да нашелся умник.

Потерял Ермил-мельник коня. Конь добрый, жалко. Пошел к колоде, спросил. А платить своим не захотел: и рука нужна, и глаз нужен, и рожь нынче в цене. Сказал: «После назову».

Идет он обратно краем деревни. Слышит, сосед его Фома на сынишку кричит. Сынишка крынку разбил. Фома и ори на всю улицу: «Да чтоб тебя леший унес, безрукого!»

Сгоряча сказал. Кто из нас так не говорил?

А Ермил стал у плетня и шепнул себе в бороду:

– Слышано.

Конь его пришел на третью зарю. А Фомин парнишка тем

же вечером пошел лыко драть и не воротился. Искали, кричали. У болота собаки сели и завыли.

Фома к колоде бегал, в ногах валялся. Дед ему одно:
– Ты отрекся. Я взял. Мне без разницы, кто слышал.

Ермила потом нашли в его же мельничном омуте. Сам ли, помогли ли, про то не рассказывают. А закон в Морошкине с тех пор положили другой, поверх дедова.

Худого слова в сердцах не говори. Ни дитю, ни жене, ни корове. Лес слышит.

А услышал, что другой обмолвился, – не жди. Перебей на том же вздохе. Скажи громко, чтоб и за огородами было слышать:

– Не в лес сказано!

Кто перебил, тот и снял.

Двести лет так жили. В Морошкине, рассказывают, мужики и те бранились шепотом да с оглядкой, а бабы вместо «чтоб тебя» говорили «спаси тебя Бог», да так, что мороз по коже.

А кто слышал худое слово да смолчал? Кто стоял у плетня и не перебил?

Про тех в Морошкине не рассказывают. Про тех дед помнит. Он не жадный. Он точный.

Глава 1. Сухие сапожки

Дорога на Морошкино шла сорок пять километров, и из них асфальта было шесть. Дальше грейдер, потом лесовозная колея, потом то, что на карте лесничества обозначалось пунктиром. В апреле пунктир превращался в два ручья, текущих рядом.

Служебный «Патриот» шел по ручьям третий час. Участковый Рябов держал руль обеими руками и думал, что напишет в рапорте.

«Четырнадцатого апреля в 12:50 в участковый пункт поступило телефонное сообщение от гражданки Кокориной З. М., начальника отделения почтовой связи деревни Морошкино, о том, что...»

О том, что – что?

Что у мостков найден ребенок. Это можно. Мальчик, на вид семи лет, одет в куртку и резиновые сапоги, называет себя Темой. Тоже можно. Заблудился, хочет к маме.

А дальше начиналось то, чего в рапорте быть не могло.

Гражданка Кокорина утверждает, что опознала в ребенке Гусева Артема Николаевича, девяносто первого года рождения. Пропавшего без вести в мае девяносто восьмого. Розыскное дело прекращено за давностью. Упомянутому Гусеву в настоящее время тридцать пять лет.

Рябов объехал лужу, в которой плавала прошлогодняя

шишка.

Он был участковым пятый год. Пять деревень по краю Лихолесья, сто сорок два жителя по последней свертке. Осенью было сто восемьдесят один. Потом случилось Долгое, и он месяц возил гробы. Зимой случился Студенец, и он привез оттуда три заявления, из них два на самих себя, и папку с одиннадцатью фамилиями людей, которых не было.

Его начальник, подполковник Дегтярев, после Студенца вызвал его и долго молчал. Потом сказал: «Рябов. Ты у меня хороший работник. Ты мне только одно объясни. Почему у всех участковых кражи кур и пьяные драки, а у тебя каждые три месяца кино?»

Рябов тогда ответил: «Не знаю, товарищ подполковник. Участок такой».

Он знал. Вернее, догадывался. И догадка эта сидела в нем давно, с четырнадцати лет, с бабкиных рассказов на печи. Он затем сюда и попросился.

Проверить.

Лес по сторонам стоял мокрый, черный, с серыми языками снега под елками. Пахло талой водой. Где-то слева, за стволами, шумело ровно и сильно: Морошка вышла из берегов.

К мосту он подъехал в четвертом часу.

Мост в Морошкине был деревянный, на сваях, низкий. Местные звали его лавами. Каждую весну лавы уходили под воду на неделю, на две, и деревня жила островом. Сейчас

вода шла ровень с настилом. Бурая, быстрая, с пеной и с мусором. Перила торчали из нее, как гребень.

Перед мостом стоял автобус.

Синий ПАЗ с красной надписью по борту: «Восток-1». Мотор работал. Водитель курил в опущенное окно и глядел на воду с выражением человека, который видел это двадцать два раза и не одобряет.

– Здорово, Валера.

– Здорово, старлей, – космонавт не удивился. Он никогда не удивлялся. – На тот берег?

– На тот.

– Я не поеду. К ночи лавы уйдут, а мне обратно. Я пассажиров тут высадил, двоих, они пешком пошли, – он сунул руку за сиденье и вытащил брезентовый мешок с сургучной пломбой. – На. Почтарке отдашь. Пенсии там и газеты. Распишись.

Рябов расписался в мятой ведомости.

– Ты чего туда? – спросил Валера. – Не твой день. У тебя Морошкино по вторым четвергам.

– Вызов.

– Угу.

Космонавт затянулся. Лицо у него было мятое, небритое, с грустными собачьими глазами. Он возил этот маршрут двадцать третий год и знал про пять деревень больше, чем весь райотдел. Только не говорил.

– Ты там, старлей, за языком следи.

– В смысле?

– В прямом. Я в Морошкине двадцать два года рта не раскрываю. Подъехал, мешок отдал, мешок принял. «Здрасте» и «до свидания». У меня характер, сам знаешь, я на дороге и послать могу. А там не посылаю. Ни разу.

– Почему?

– А ты у бабки своей не спрашивал?

Рябов не ответил. Валера кивнул, будто ответ получил.

– Ну вот. Езжай. Колесами в колею не попади, там у третьей сваи настил гуляет.

«Патриот» вполз на мост. Вода зашипела под шинами. Настил и вправду гулял: машину качнуло, перила слева ушли вниз и вернулись. Рябов вел на первой передаче, не дыша. Справа и слева неслась бурая вода, и казалось, что едешь не поперек реки, а вдоль, вместе с ней.

На том берегу он остановился и поглядел в зеркало. Автобус разворачивался. Космонавт высунул руку и помахал. Не ему. Реке.

Морошкино начиналось сразу за мостом, подъемом на угор.

Рябов знал здесь каждый двор. Он не то чтобы вырос тут, вырос он в городе, в панельной девятиэтажке. Но каждое лето с пяти лет до семнадцати и каждые зимние каникулы его привозили сюда, к бабке Анфисе. Он знал, у кого самые злые гуси и где в заборе клуба дыра. Знал, что на Верхнем конце колодец с журавлем, а на Нижнем с воротом. Знал, что

если встать на Поклонной горке лицом к лесу и крикнуть, эхо вернется не сразу, а помедлив, будто кто-то там подумал, прежде чем ответить.

И еще он знал, что в Морошкине не ругаются.

В детстве он этого не замечал: думал, так везде. Заметил в двенадцать лет, когда приехал после лагеря, набравшись слов, и за ужином сказал одно. Не самое страшное. Бабка Анфиса, не меняясь в лице, перегнулась через стол и закрыла ему рот ладонью. Ладонь пахла тестом. Другой рукой она перекрестила окно, выходившее на лес, и сказала громко, раздельно, как говорят глухому:

– Не в лес сказано.

Потом убрала руку и стала разливать суп.

Он вспомнил это сейчас, въезжая на угор, и почему-то поежился.

Деревня стояла в два конца. Верхний, на бугре, был сухой: десятка полтора изб, почта, заколоченный клуб. Нижний спускался к Старице, старому руслу, и его заливало каждый год. Сверху было видно, как далеко зашла вода. Огороды Нижнего конца блестели сплошным зеркалом. Из зеркала торчали колья, бани, перевернутая лодка. К трем крайним избам были брошены мостки из горбыля.

За Старицей лежал луг, тоже под водой. А за лугом стоял лес.

Он стоял стеной, без подлеска, сразу. Темный, ровный. В детстве Игнат думал, что лес на них смотрит. Бабка говори-

ла: «Не смотрит. Слушает».

Почта была первым домом на въезде. Он затормозил и не сразу вышел.

Почту перекрасили. Он знал это и раньше, приезжал же каждый месяц, но сейчас увидел заново. Раньше, в его детстве, она была голубая, с белыми наличниками, и на двери висел железный ящик с гербом. Теперь ее обшили серо-синим пластиком, как все почты в стране, и ящик стал другой.

«Он спрашивает, почему почта другого цвета».

Рябов взял мешок, блокнот и пошел к крыльцу.

Внутри пахло сургучом и мокрыми валенками. За барьером, под календарем с котятками, сидела полная женщина лет шестидесяти в форменном жилете. При виде него она вско-чила, уронила штемпель и сразу начала шарить по столу.

– Игнат Сергеевич? Ох, слава тебе... Сейчас. Очки. Я без очков как без рук, с утра ищу, все перевернула...

Он не думал. Рука сама пошла вправо, к подоконнику, отодвинула горшок с геранью и взяла то, что лежало за ним.

– Эти?

Женщина замерла. Посмотрела на очки. На него.

– Эти, – произнесла она тихо. – Анфисин внук. Она тоже так умела. Не глядя.

– Случайно.

– Ну да, ну да, – она надела очки. Глаза за ними были круглые, испуганные, в красных веках. – Кокорина я, Зоя Михайловна. Вы меня не знаете, я тут с января. Я в райо-

не тридцать лет на узле связи отработала, а зимой Таисия Ильинична позвонила: в Морошкине почтальонша померла, отделение закрывать будут, а вы, говорит, тамошня. Поезжайте. Я и поехала.

— Кривцова позвонила?

— Она. Сама. Я еще удивилась.

Рябов записал. Не в рапорт. Для себя.

— Где он?

Зоя Михайловна показала глазами на дверь за барьером. Дверь была приоткрыта.

— Чай пьет. Третью кружку. Я ему сушек дала, он размачивает. Я его не спрашивала ни о чем, Игнат Сергеевич. У нас не положено спрашивать. Только он сам говорит. Все говорит и говорит. Про мамку, про Тузика. Про то, что его ругать будут.

— За что ругать?

— Что долго ходил.

Она сняла очки и стала протирать их подолом жилета. Руки у нее тряслись.

— Вы на сапожки поглядите. Я вас за тем и звала. Мальчик и мальчик, мало ли. Может, с турбазы чей. А сапожки-то...

Рябов толкнул дверь.

Комната была маленькая, в одно окно. Стол под клеенкой, электрический чайник, стопка бланков. У стола на казенном стуле сидел мальчик и болтал ногами.

Ноги до пола не доставали.

Обыкновенный. Это было первое, что Рябов подумал, и подумал с облегчением. Обыкновенный деревенский мальчишка, каких он видел сотню. Худой, большеголовый. Уши торчат. Острижен под горшок, неровно, видно, что дома ножницами. На носу и на скулах веснушки, еще бледные, весенние. Под носом мокро.

На нем была синяя куртка. Болоньевая, дутая, с капюшоном. На груди нашивка: мышь в красных штанах, с круглыми ушами. Нашивка была яркая. Не выцветшая.

Сапожки были красные. Резиновые, маленькие, с белой каймой по верху.

И сухие.

Рябов опустил глаза на собственные ботинки. От машины до крыльца он прошел двадцать шагов по раскисшей глине. Ботинки были бурые по щиколотку, и на чистом почтовом полу за ним тянулись следы.

Под стулом у мальчика было чисто.

Не «уже высохло». Чисто. Красная резина блестела, как в магазине. На подошве, которую он видел, потому что мальчик болтал ногой, не было ни песчинки.

А мостки, у которых его нашли, стояли по колено в воде.

– Здравсте, – сказал мальчик. Он перестал болтать ногами и вытянулся. Сушка у него в руке капала в кружку. – Дядя милиционер. А вы за мной?

– Здравствуй, – Рябов снял фуражку. Сел напротив, на край табуретки, чтобы глаза были вровень. – Я участковый.

Меня зовут Игнат Сергеевич. А тебя?

– Тёма. Гусев Артём.

– Сколько тебе лет, Артём?

– Семь. Мне в марте стало. Я в школу осенью пойду, в Усть-Лихву, в интернат. Мама говорит, там кормят.

– А какое сегодня число, знаешь?

Мальчик посмотрел на него с сомнением. Так смотрят на взрослого, который задает глупый вопрос, и не знают, шутит он или проверяет.

– Шестнадцатое. Мая. Суббота, – он подумал. – Или уже воскресенье? Я долго ходил. Темно было, потом светло.

– А год?

– Девяносто восьмой.

Рябов не записал. Он положил блокнот на колено и стал смотреть.

Он смотрел так, как учили смотреть на подозреваемого: не в глаза, а на мелочи. Ногти. Короткие, обкусанные, с черной каймой. Цыпки на костяшках. Ссадина на подбородке, свежая, с корочкой. Воротник свитера под курткой, растянутый, ручной вязки. Все сходилось на одно: ребенок из небогатого дома, много гуляет, мать стрижет сама.

Все это можно подделать. Он знал случаи. В области два года назад женщина водила по вокзалам чужого мальчика и собирала на «сына, вернувшегося из плена». Ребенка научить можно чему угодно.

Нельзя подделать сапоги.

– Тема. А как ты к мосткам попал?

– Из лесу вышел.

– А в лес зачем ходил?

Мальчик замолчал. Сушка в его пальцах размокла и упала в кружку. Он полез за ней ложкой, сосредоточенно, высунув кончик языка.

– Надо было, – ответил он наконец. – Найти одну вещь. А то мама ругалась.

– Нашел?

– Не скажу.

– Ладно. А мама твоя где живет?

– На Нижнем конце. Крайний дом, где мостки. У нас еще скворечник на шесте, папка ставил, – он поднял голову, и лицо у него стало тревожное. – Дядя милиционер. А чего там вода? Утром она уж с огорода уходила. Я шел, а там огород наш, и опять весь в воде. И баня тети-Панина. Это потоп?

– Половодье. Река разлилась.

– Так оно же прошло! Вода уж уходила, мостки наполовину вылезли!

В мае девяносто восьмого, подумал Рябов. В мае вода уже уходила. А сейчас апрель.

– А почему почта серая? – спросил мальчик. Он, видно, копил этот вопрос. – Она голубая была. И тети Нины нету, которая марки давала лизнуть. Тут другая тетя. И телефон другой. И на стенке висит, плоское, – он показал пальцем на календарь, под которым висел выключенный монитор. – Это

телевизор такой?

– Вроде того.

– А мультики показывает?

– Показывает.

Рябов достал телефон. Не затем, чтобы развлечь. Он хотел увидеть лицо.

Мальчик посмотрел на черный плоский предмет без единой кнопки. Потом экран засветился. Он не отшатнулся. Он подался вперед всем телом, открыв рот, и Рябов понял, что так сыграть нельзя. Никакой выученный ребенок, выросший с планшетом в руках, не смотрит на телефон так, как смотрят на живого слона.

– Это чего?

– Телефон.

– Врете. У телефона трубка и шнур. Это тамагочи. Большой. У Алешки Вторушина есть тамагочи, ему отец из Вологды привез, только маленький и серый. А у вас цветной! – он протянул палец и отдернул. – Можно?

– Можно.

Палец ткнулся в стекло. Картинка поехала. Мальчик взвизгнул от восторга и тут же зажал себе рот, оглянувшись на дверь.

– А кто у нас сейчас президент? – спросил Рябов.

– Ельцин. Борис Николаевич, – ответ был скучающий. – А он чего, умер?

– Почему умер?

– Вы так спросили. Как будто умер.

Рябов убрал телефон. Перед тем он нажал на кнопку сбоку, и в памяти осталось лицо: веснушки, уши, открытый рот.

– Тема. Мне надо сходить к твоей маме. Предупредить. Ты пока посиди с Зоей Михайловной. Хорошо?

Лицо у мальчика сморщилось.

– А вы меня не в детдом?

– С чего ты взял?

– Мама говорит: будешь шляться, в детдом сдам, – он шмыгнул носом. – Она не взаправду. Она когда устанет, говорит. Она на ферме с пяти утра, а потом еще Лидка. Лидка маленькая, ревет все время. Я ей сегодня куклу сломал. Нечаянно. Я парашют делал.

– Не в детдом, – ответил Рябов. – Слово даю.

– А Тузика не видали? Он за мной бежал. Рыжий, ухо белое. Я его звал, звал.

– Не видал. Поищем.

В почтовом зале Зоя Михайловна стояла у окна и глядела на улицу. Он подошел.

По улице, по сухому, не торопясь, шла старуха с ведром. У колодца стояли еще две. Все три смотрели на почту. Не подходили. Просто стояли и смотрели, и было в этом что-то от того, как смотрят на дом, где покойник.

– Знают? – спросил он.

– У нас все знают. Я его от мостков вела через весь Нижний конец. За ручку, – она обхватила себя за локти. – Вы

поверили, Игнат Сергеевич?

– Я пока смотрю. Расскажите, как нашли.

– В полдень. Я пошла воду глядеть: Михалыч у мостков рейку держит, каждое утро зарубку ставит, сколько прибыло. Я хотела узнать, не пора ли посылки на чердак поднимать. Подхожу. А он стоит.

– Где?

– На мостках, – она посмотрела на него, проверяя, понял ли. – На самих мостках, Игнат Сергеевич. На настиле. Настил под водой, полметра над ним. А он на нем стоит, и вода ему до голенищ не достает. Вокруг сапожек ямка, как от камня, когда бросишь. Только камень тонет, а эта ямка стоит.

Рябов молчал.

– Я думала, в глазах рябит. Сняла очки, надела. Стоит. И ревет. Тихонько так, в кулак. Я ему: мальчик, ты чей? А он голову поднял, – голос у нее сорвался. – Я ж его знаю. Я его семилетним помню лучше, чем свою свадьбу. Я его двадцать восемь лет каждую ночь вижу, как он через огород бежит.

– Вы были тогда здесь? В девяносто восьмом?

– Была.

Она ответила слишком быстро и отвернулась к окну. Он отметил это. Потом.

– Мать его в каком состоянии? Ходит, в памяти?

– Шура-то? В памяти. Получше нас с вами. Ходит плохо, ноги. Она у окна сидит, – Зоя Михайловна понизила голос. – Она двадцать восемь лет у этого окна сидит, Игнат Серге-

евич. Которое на лес. С утра садится и до ночи. Ей Анфиса Петровна, бабушка ваша, пока жива была, еду носила. Потом соседи. Теперь я.

– У нее дочь была.

– Лидка. В городе. Шлет переводы, первого числа, как часы. Четыре тысячи. Я выдаю. Шура берет, в бланке распишется и ни слова. Ни «как она там», ничего. Адрес обратный есть, телефон есть. Я вам дам.

– Дайте. И еще. У вас есть его фотография? Тогдашняя?

– Откуда у меня... – она осеклась. – У Шуры есть. Одна. На комод.

Он надел фуражку.

– Не выпускайте его. И сами к нему с вопросами не ходите, раз не положено. Я быстро.

На крыльце он постоял, глядя на свои следы. Глина на ступеньках уже подсыхала. Двадцать шагов от машины, и ботинки по щиколотку.

«Вокруг сапожек ямка».

Он пошел вниз.

Его окликнули у клуба.

– Игнат Сергеевич! Какими судьбами не в свой день?

С бокового проулка, мягко урча, выкатился квадроцикл. Новый, зеленый, с лебедкой. На нем сидел человек в хорошей непромокаемой куртке и в кепке с длинным козырьком. Он заглушил мотор и слез, неторопливо, как слезают с лошади люди, привыкшие, что их подождут.

Геннадий Павлович Вторушин был в Морошкине всем. Бывший лесничий, нынешний хозяин турбазы «Морошкин край», депутат районного совета второго созыва. Пятьдесят шесть лет, сухой, загорелый круглый год, с аккуратной седой бородкой. Половина деревни у него работала: кто на кухне, кто в бане, кто водил приезжих на болото за ягодой. Вторая половина брала у него в долг.

Рябов знал его с детства как дядю Гену, который возил на мотоцикле с коляской. Теперь знал как человека, на которого за пять лет не поступило ни одной жалобы. В деревне, где на каждого поступает хотя бы одна, это наводило на мысли.

– Здравствуйте, Геннадий Павлович.

– Вы к Шуре? – Вторушин не спрашивал, уточнял. – Правильно. Давно пора кому-то казенному поглядеть. Радость-то какая, а? Двадцать восемь лет ждала. Я, признаться, не верил, что доживет.

– Вы его видели?

– Издали. Зоя вела. Я на турбазе был, генератор проверял, смотрю: идут, – он улыбнулся, хорошо, одними глазами. – Темка. Он с моим Алешкой на одной улице рос. Мой-то теперь в Вологде, инженер, тридцать шесть лет, двое детей. А этот...

Он не договорил и развел руками.

– Вы не удивлены, – заметил Рябов.

– Чему?

– Тому, что человек, которому должно быть тридцать

пять, вышел из леса семилетним. Я три часа ехал и удивлялся. Зоя Михайловна до сих пор трясется. А вы говорите «радость» и про генератор.

Вторушин посмотрел на него внимательно. Потом на лес, который был виден отсюда поверх крыш.

– Игнат Сергеевич. Вы здесь каждое лето жили. Вы у Анфисы Петровны на коленях выросли. Неужто она вам ничего?..

– Мне сегодня второй человек это говорит.

– А кто первый?

– Водитель автобуса.

– Ну, Валера, – протянул Вторушин с той же улыбкой. – Валера у нас, спаси его Бог, зря не скажет. Ладно. Не мне вас учить. Вы человек с головой, сами все увидите. Я другое хотел.

Он подошел ближе и понизил голос. Не до шепота. До того уровня, каким говорят о деле.

– Вы в район уже докладывали?

– Нет пока.

– И не спешите. Я вас как депутат прошу и как сосед. День-два. Сами подумайте: что вы доложите? Вам не поверят, а если поверят, будет хуже. Приедут с телевидения. Из области приедут, из Москвы. Мальчика заберут в больницу, станут кровь брать, в трубу какую-нибудь засунут. А ему нельзя отсюда. Ему сейчас покой нужен и мать.

– Почему нельзя?

– Да вода же, – Вторушин повел рукой в сторону моста.
– К ночи лавы уйдут. Недели полторы будем островом. Куда вы его повезете, на чем? А у меня на турбазе генератор, рация на лесничество, лодка с мотором. Понадобится что: продукты, лекарства, связь – вы ко мне. По-соседски. Я для Шуры ничего не пожалею.

Все это было сказано разумно, доброжелательно и правильно. Рябов слушал и не мог понять, что ему мешает сказать «спасибо».

Потом понял. Вторушин ни разу не сказал «если это он». Ни разу не усомнился. Он говорил о мальчике так, как говорят о товаре, который наконец пришел и который надо теперь правильно хранить.

– Я подумаю, – ответил Рябов.

– Подумайте, – Вторушин сел на квадроцикл. – И заходите вечером. У меня двое рыбаков заехали, уху затевают. Места у нас, сами знаете, тихие. Тут главное – лишнего не говорить.

Он уехал в сторону реки, к турбазе. Рябов постоял, глядя вслед, достал блокнот и написал: «Вторушин. Не удивлен. Просит не докладывать. Почему ему это надо?»

И пошел дальше.

Улица спускалась полого, и с каждым двором под ногами делалось мокрее. У избы бабки Анфисы он не остановился. Только глянул: ставни закрыты, на двери замок, под застрехой прошлогоднее ласточкино гнездо. Ключ лежал у него в бардачке. Он ночевал здесь раз в месяц, когда приезжал на

обход, спал на лавке под бабкиным тулупом и уезжал затем-но.

Нижний конец встретил его запахом. Пахло мокрым деревом, илом, размокшим навозом. Вода стояла в канавах вровень с дорогой, а дальше дороги не было. Три последние избы торчали из воды, как баржи. К ним вели доски на чурбаках.

У самой кромки, на перевернутой бочке, сидел старик в ватнике и в болотных сапогах до паха. В руках он держал длинную рейку, размеченную черной краской. Нижний конец рейки уходил в воду.

– Здорово, Михалыч.

– Здоров будь, Сергеич! – старик обрадовался так, как радуются люди, которым давно не с кем поговорить. – А я гляжу, казенная машина на угор лезет. Думаю: либо паводковая комиссия, либо по Шуркиному делу. Комиссия, она на лодке приезжает. Значит, по Шуркиному.

– Сколько над мостками?

– Пятьдесят ровно. С утра сорок два было. Прет, едр... – он поперхнулся, закашлялся и договорил другим голосом, старательно: – Прет, будь она здорова. К субботе, я так считаю, метр десять даст. Как в девяносто восьмом.

– В девяносто восьмом столько было?

– Больше. Тогда до самых Шуркиных окон дошло. Она еще с малыми на чердаке сидела, – Михалыч сплюнул в воду и вдруг сделался серьезным. – Ты иди, Сергеич. Она ждет.

Ты только это. Ты при ней слов не говори. Никаких. Ты городской, у тебя с языка соскочит, а ей нынче нельзя. И ему нельзя.

— Каких слов?

— Сам знаешь каких. Бабка учила.

Рябов кивнул и ступил на доски.

Доски прогибались. Под ними шла темная вода, и в воде, как в стекле, стоял перевернутый забор. Он шел, расставив руки, и думал, что надо было взять сапоги.

Изба Гусевых была последняя. Маленькая, в три окна, почерневшая. На шесте над крышей торчал скворечник, покосившийся, без дна. Вода стояла у нижней ступеньки крыльца.

За избой был огород, вернее, место, где он бывал летом. Теперь там блестело ровно, до самого луга. Посреди блеска из воды выступали два столбика с перекладиной: перила мостков. Там бабы Нижнего конца сто лет полоскали белье. Там в полдень стоял мальчик.

А за мостками, за лугом, шагах в трехстах, начинался лес.

Одно из трех окон избы выходило туда. Занавески на нем не было.

Рябов постучал в косяк и вошел.

В избе было чисто, холодно и пусто. Так пусто бывает в домах, где давно не готовят на семью. Стол без скатерти. Кровать, застеленная солдатским одеялом. На комодѣ фотография в рамке, стеклом к стене.

У окна, спиной к двери, сидела женщина.

Стул под ней был венский, гнутый, с продавленным сиденьем. Половицы под ножками стерлись до белого. Она сидела прямо, положив руки на подоконник, и глядела на лес. Платок темный, плечи узкие. Из-под платка выбивалась седая прядь.

Она не обернулась.

– Привел? – спросила она.

Голос был низкий, хрипловатый, совсем не старушечий.

– Александра Ефимовна. Я участковый, Рябов. Мне нужно с вами...

– Я знаю, кто ты. Анфисин. Игнатка, – она по-прежнему глядела в окно. – Я на тебя с малых лет гляжу. Ты мне молоко носил в бидоне, бабка посылала. Поставишь на крыльцо и бежать. Боялся меня.

– Боялся.

– Правильно боялся. Где он?

– На почте. С ним Зоя Михайловна. Александра Ефимовна, я должен вас подготовить. Там ребенок. Он называет себя вашим сыном. Но вы поймите...

– Я с субботы жду.

Он запнулся.

– С какой субботы?

– С этой. С Великой, – она наконец повернула голову. Лицо у нее было темное, сухое, все в глубоких резаных морщинах, как кора. А глаза светлые, быстрые, совсем молодые.

дые. Глаза человека, который двадцать восемь лет не моргая смотрел в одну точку и не устал. – В субботу вода на огород пришла. Я поглядела и поняла: во вторник. На третью зарю. Он утром должен был, да, видно, заплутал малость. Он у меня копуша.

– Откуда вы знали, что он придет?

Старуха посмотрела на него. Долго. Так смотрят на взрослого человека, который не знает, откуда берутся дети.

– Тебе бабка не сказывала?

– Что?

– Стало быть, не сказывала. Берегла, – она отвернулась к окну. – Я его не ждала, Игнат. Ждала я двадцать восемь лет, и толку. Я его выпросила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.